

Колесил,
 колесил –
 исколесил,
 всё, что вблизи,
 покатыл дальше –
 через большак и пашни,
 через орешник фисташковый,
 мимо водонапорной башни –
 символа дня вчерашнего,
 мимо деревни, где простокваша,
 и города, где опавшим
 листьяммышлёные первоклашки
 уделяют внимание –
 взяв процесс увядания,
 как открытую данность,
 и воплотив в гербарии
 мысль о бессмертии – пока не украли
 и эту иллюзию
 педагоги школы и вуза,
 начальники-моралисты,
 держатели акций истины,
 проворные толмачи,
 рвачи казённой парчи.

Колесил,
 колесил
 до упадка сил –
 увяз в грязи
 среди топких низин.
 В заводах – ходят язи,
 в полях – колосятся озимые,
 но на оси –
 сломано колесо,
 а из-за тёмных лесов
 всходит луна –
 холодной валуна,
 хоть и ликом – апостол Лука.
 Здесь – на отшибе –
 кажутся сёла большими,
 и сосны своими вершинами –
 будто метут Млечный путь.
 Доколесить как-нибудь,
 доколесить как-нибудь
 до кузнечика –
 в травах замеченного –
 до всхлипа
 надломленной липы,
 до трепетной птицы,
 в которую переродится
 весь этот гул,
 до себя, что в прямом стогу
 наблюдал звездопад
 и клубящийся пар
 в колдобинах хлипких дорог –
 до всего, что догнать не мог...

Настасья Филипповна
 топит печь
 исключительно тысячами
 рублей – сотнями тысяч,
 миллионами –
 а потом глядит,
 как падают в обморок
 в них влюблённые
 персонажи длинных романов
 и несёт им воды
 в отогретых ладонях –
 вот с этого места
 и кончается водевиль,
 да начинается месса,
 в которой надрывная музыка
 выдыхает робкое имя
 в органную духоту...
 Что написано кровью –
 не переводится никакими
 цифрами и словами,
 брошенными налету
 в прихожей
 на язык репродукций,
 где кровь остужают в ванне
 перед тем, как дать окунуться
 или запить десерт...
 Так ведь, Рогожин?

Швыряет охапкой
 Настасья Филипповна
 деньги в огонь –
 пляшет пламя
 в дорогих нарядах
 и это уже не липа –
 это – как бы вскричала толпа –
 о-го-го!
 Репетиция ада
 или просто – слаба,
 на самом-то деле – слаба,
 вот и хочется воя
 в печной трубе –
 так, чтоб слышало небо,
 чтоб таял на стёклах лёд
 и купленный ком несвободы
 рассыпался на шум голубей
 где-то под крышей –
 отголоском высот.

Горит-горит ясно –
 рычит да ёжится,
 корчится, стонет.
 Были тысячи – выпекла грош.
 А в конце – лягушачья кожица
 пузырями пошла.
 В доме стало натоплено,
 но вскричала душа,
 наскочив на садовый нож...

1-я Конная –
 прошла волной –
 смыла со стен иконы,
 вспенила бабий вой
 на днище ржавой беды,
 слизнула с кровель росу,
 мёртвого сына принесла к живому отцу,
 а к живому сыну с кровавым клочком бороды –
 отца убиенного. Из-под копыт –
 летели в глаза Бажова
 самоцветы – на всякий калибр.
 У солдатухек-ребятушек жёны –
 пушки, и вот, знать, чем заряжены,
 так что можно бы было без рифм...

2-я Конная –
 опустошила предел
 между землёй – исконным
 пастбищем – и небом, которому тел
 небесных не вынянчить
 без млека млечных путей.
 Ворвались многие тысячи
 сабель и копий ко всем, кто хотел,
 чтоб обошлось,
 чтоб солнце вернулось на круг –
 теперь этот грубый шов
 век поминает иглу.

3-я Конная –
 накрыла всех с головой –
 запеленала окна,
 за которыми скорбной совой
 ухаёт колокол чащи –
 сплав хвои и бересты,
 а то, что осыпалось в настоящем –
 сметёт хвост болезной лисы
 в ладонь запылённую.
 Сидит на крыльце Орфей –
 поёт про 4-ю Конную,
 что – будто бы – всех сильней...

* * *

Когда земля
 стояла на трёх китах,
 и словом «зима»
 хотелось себя огибать
 звонче и крепче –
 росли в высоту города
 на костях человеческих,
 но так была молода
 мать богов –
 белила и пудрила щёки,
 красила губы, с которых легко
 слетала воздушным шёлком
 небесная речь –
 прозрачная на свету.
 Всё лишнее решили отсечь –
 по нынешний день секут...

Сидишь с чашкой кофе
 в утренней простоте –
 без мыслей о катастрофе,
 без пламени на хвосте –
 а в дальнем углу пространства,
 где сбилась в остатке тень –
 уже тридевятое царство

бросает себя на плетень.

Но тройка китов – эпична,
 и булка земли – свежа,
 пока не чиркнули спичкой,
 крича «пожар!».

* * *

Жаба – пучит
 глаза в омуте цифр.
 Мы с тобой живучие –
 могли б захиреть от цинги
 или от чахлого света,
 сквозь щель занавесок
 втёкшего в глаз по руслу индейского лета,
 но – улучив время и место –
 остались в строю –
 в строчке спорного текста,
 в котором – ноздря в ноздю –
 идут к финишу кони
 апокалипсиса или просто –
 оторвавшиеся от погони
 жеребцы из разграбленного обоза.

Могли б кануть в чащу –
 захлебнувшись клюквенным соком,
 при разделе на «не наших» и «наших»
 попасть под скорое
 лезвие, согнуть в лестничной клетке,
 как бумажные лебеди –
 оригами, выйти калеками
 из покоев железной леди
 или бронзового вождя.
 Но вытянули струну –
 пальцами сжав
 аккорд, собранный по куску
 на треснутом грифе.
 Так эллины – видимо –
 вылепляли из глины в мифах
 каждый нюанс картины,
 где в центре – огонь.
 У оград снуют воробьи,
 и хлебные крошки покидают ладонь
 во имя пернатой любви.

Остались в прожилках,
 вынесли боль и боль
 случайными пассажирами,
 успевшими сесть на борт
 в чужом незнакомом городе
 с улицами-метелицами,
 несущими мимо барокко и готики
 в сторону спальных районов из теста
 ржаного с обилием грубой соли.
 Сколько ещё лететь-плыть-ехать –
 знает только играющий соло
 флейтист в руинах расколотого ореха,
 но отвечает лишь эхо –
 неразличимое эхо,
 невнятное эхо,
 лишь эхо,
 эхо...